

Юрий Кузнецов – фигура в русской поэзии столь значимая, что серьёзный разговор об этой личности и поэтическом феномене, если только его начать, получился бы долгим и полемически острым. Хотя здесь существуют общие оценочные поля, исследовательский консенсус, налицо и субъективные выводы и предпочтения тех или иных литераторов и литературоведов. Вероятно, можно даже говорить о нехватке именно целостного взгляда на личность и творчество Юрия Кузнецова – взгляда внимательно-доброжелательного и при этом не столь распространённого в своих строках, как того, очевидно, требует тема.

Поэзия Кузнецова открылась мне со второго стихотворения второй его книги 1974 г. «Во мне и рядом – даль» – стихотворения под названием «Поезд», начинающегося так:

*Когда из-за тех вон деревьев
кулик или поезд свистнет,
несчастливая мать поэта
встаёт и идёт на перрон.
Несчастливая эта женщина
на шее солдата виснет –
солдат бежит и цепляется
за самый последний вагон...*

В предисловии к итоговому «Крестному пути» автор писал: «Поэзия не поддаётся определению. Она тайна. Легче схватить момент её зарождения. Вот мнение Гегеля: «Поэзия возникла впервые, когда человек решил высказаться»... Бог сотворил человека из земного праха и вдохнул в него свою малую частицу – творческую искру. Эта Божья искра и есть дар поэзии. ... творцами мирового эпоса были певцы. Естественно предположить, что первыми певцами были ангелы. Они пели хвалу Богу».

Это слова Кузнецова позднего, поэта, создающего свои религиозные поэмы. Здесь многое от книги, от мысли и от опыта. Но, по общему закону, именно молодая поэзия – это стихи от стихии. Важно только, чтоб этой энергии соответствовали дар и интеллект. И стихия поэзии (то есть самое главное в ней – её «ангельское пение») жива, пока интеллект не возьмёт верха над даром, не одержит над последним роковую «победу» – победу рационального над ситуативным.

Отсчёт поэтических удач Юрия Кузнецова часто ведут от яркого двестишестидесяти ещё конца 1950-х:

*И снова за прибрежными деревьями
Выщипывает лошадь тень свою.*

«Это не просто метафора. – Напишет сам поэт: Расстояние между прямым значением и переносным тут сокращено до минимума. Образ зрим, осязаем и стоит перед глазами, как живой».

Действительно, всего одно слово «тень» вместо «траву в своей тени» – придало образу иное измерение, сгущение в нём метафизического, а значит, символического. И важно, как над этим размышляет сам поэт:

«Переносный смысл метафоры – это призрак. Я хотел оживить призрак. То же самое было у Есенина:

*В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть.*

По Есенину выходит, что костёр рябины горит, только вот согреть никого не может. Ложь очевидная и самозабвенная! Оказывается, к метафоре нужно добавить нечто, чего в ней нет и быть не может. Метафора пропала – возник символ. К сожалению, больше таких удач у Есенина не было».

Последние слова Кузнецова, конечно, наводят на размышления: может быть, Есенин-то как раз остановился на черте, которую «глуповатая» по Пушкину поэзия не должна переступать? От символической поэзии недалеко до аллегии и басни – в которой происходит *смерть лирики*. Всякая поэзия дорога нам до тех пор, пока она действительно лирична. Вот почему мне стал и остался особенно дорог именно Кузнецов своих первых книг, ещё не прошедший трудного, глубокого и немного угрюмого поиска 1970-1980-х. По известному всем завету Блока мы рады простить поэту «его угрюмство», но существуют в поэзии грани и мера, которые переходить нельзя.

Любимейшим моим стихотворением Юрия Кузнецова долгое время было «Отсутствие». Я считал его чистейшим и высочайшим образцом лирического «зависания» над моментом (в первой редакции этих стихов):

*Ты придёшь, не застанешь меня
И заплачешь, заплачешь.
В подстаканнике чай, догорая,
Чадит и чадит.
Стул в моём пиджаке
Тебя сзади обнимет за плечи,
А когда ты приляжешь,
Он рядом всю ночь просидит...*

Сама форма записи строк и каждое слово – особенно слово повтора – казались мне мучительно сладкой музыкой *метафорического* изложения чувств в едином сюжетном, бесконечно лирическом образе... Стихи эти верны уже потому, что буквально просятся быть произнесёнными вслух.

Но вот как оценивал своё свершение поэт: «В 1967 году у меня, наконец, прорезалось мифическое сознание в «чистом виде». Я написал свой первый миф: стул в пиджаке сдвинулся с места сам и стал ходить». Оказывается, мы читали эти стихи совсем по-разному с их автором. Неслучайно впоследствии стихи «Отсутствие» подвергнутся редакции – но в качестве «мифа» они станут иными. А ведь Кузнецов говорил: «В моих стихах... главное – русский миф, и этот миф – поэт, остальное легенда».

В основном и главном Юрий Кузнецов сын своего народа, а в XX веке это и было призванием, проверкой силы и верности, стало тем, что звало его к противостоянию своей переломной для судеб всего мира эпохе. Необходимо помнить о том, что Кузнецов был младшим современником крупных поэтов, «заполнивших собой» целые десятилетия: Вознесенский, Евтушенко, Куняев, Рождественский, Рубцов... Рубцов, признание которого «высшим светом» шло с опозданием, а за ним и Кузнецов – представители простонародья, правда, того «простонародья», которое формировалось в стране в послевоенные годы на почве лучшей в мире системы доступного образования. Кузнецов, по видимому, осознавал, кем и какой ширины пути пройдены в поэзии прямо перед ним, представлял, какую «пыль» ему предстояло поднять здесь и с какой удачью. Перед ним стояла труднейшая задача быстрой выработки узнаваемого и до-

статочного громкого поэтического голоса. Возможно – важнейшую роль сыграла именно «стрела Аполлона», ещё в юности впитанные миф как поэт и поэзия как легенда... Эпоха в целом принадлежала поэзии, и души читателей были беззащитны перед великолепным образом.

*Я лежу на жестоком одре из досок,
Неуютный кулак подогнав под висок.
В кулаке, словно нитки, зажата струя –
След на Родину, пенистый путь корабля.*

Или вот, несколькими годами ранее (1959):

*Надо мною дымится пробитое пулями солнце.
Смотрит с фото отец, измотанный долгой бессонницей.
Поседевший без старости в обожжённой измятой каске.
Он оставил мне Родину и зачитанных писем связку...*

Или несколькими годами позднее (1967), прочтём это сильное – может, предельно сильное стихотворение полностью:

*Всё сошлось в этой жизни и стихло.
Я по комнате кончил ходить.
Упираясь в морозные стёкла,
Стал крикливую кровь холодить.
Я вчера в этом доме смеялся,
Кликнул друга, подругу привёз.
И на радостях плакать пытался,
Но судьбы не хватило для слёз.
Так стоял в этом смолкнувшем доме.
И на божий протаяли свет
Отпечатки воздетых ладоней
И от губ западающий след.
Я рванусь на восток и на запад,
Буду взглядом подругу искать.
Но останутся пальцы царапать,
И останутся губы кричать.*

Глубина подвывающей в проводах этих строк стихии такова, что масса глагольных рифм становится незаметной, ничего уже не значащей в *такой* поэзии деталью: там, где сказано «но судьбы не хватало для слёз» – слышим ли мы уже рифму?

С другой стороны – остаётся ли у этих стихов хоть какое-то расстояние до сверхчеловеческого, может, нечеловеческого? Если и отделяет что-то образ поэта от образа демонического – то единственный шаг.

Нужно обладать энергией большого дара, чтобы написать такие стихи (с 1959 и 1967 – когда, по мнению Кузнецова, он написал свой первый миф» тенденция усиливается). И нужно обладать отсутствием чувства некой *меры*, чтобы не увидеть перед собой горящую реку...

В 1968-м – в трудное и, думаю, подлое для мира и СССР время парижских студенческих волнений (кстати, поддержанных всезнающим Сартром), сексуальной революции (поддержанной легионом иных «новых левых» западных философов), «Пражской весны» (так же изрядно поддержанной прогрессивным человечеством) – в этом бурном 1968-м, миновав предельный возраст автора «Демона», Кузнецов словно бы ощутил опасную границу... скажем так, *света белого*, и стал как бы более осторожен в своём творчестве – хотя, повторюсь, – на самом последнем шаге... Хочется думать, что поэт «остановился», написав в 1968 г.:

*...Но ты не остановишься уже!
Лишь иногда в какую-то минуту
Ты паразишься – тяжести в душе,
Как та сопротивляется чему-то*

Наступающая зрелость привела поэта к очень глубокой, почти тупиковой рефлексии. Кроме стихотворения «Грибы» мы можем прочесть его «Атомную сказку», «Деревянный журавль», «Змеиные травы», «Снег», «Сотни птиц», «Горные камни» – они помогли поэту «переварить» веяния сложного и беспокойного мира. Мне кажется, помогли (не только они, конечно) удержаться на краю земли – понять, что есть нечто важнее риторики, софистики, гротеска.

Вот ещё одно из стихотворений Кузнецова. В 1971 г. поэту только тридцать, но можно почувствовать, как он повзрослел за три-четыре года:

*Я в поколение друга не нашёл,
И годы не восполнили утраты.
Забывтое письмо вчера прочёл
Без адреса, без подписи и даты.*

*Поклонная и мягкая строка
Далёкое сиянье излучала.
Его писала женская рука –
Кому, кому она принадлежала?*

*Она просила участи моей –
Порыв последний зрелости бездомной.
А я не знаю, чем ответил ей,
Я всё забыл, я ничего не помню.*

*Немало было юных и пустых,
И светлых, что любви моей искали.
Я вспомнил современников своих –
Их спутниц... нет, они так не писали.*

*Такой души на свете больше нет.
Забывтую за поколеньем новым,
Никто не вырвал имени на свет
Ни верностью, ни мужеством, ни словом.*

Однако Кузнецов остаётся и останется Кузнецовым, пожалуй, навсегда. Если Рубцов уже под конец своей короткой жизни желал:

*До конца, до смертного креста
Пусть душа останется чиста!*

то уроженец казачьих мест Кузнецов пока далековат от северно-русского монастырского смирения. Вспомним, что он пишет в 1977 г. в «релятивистском» стихотворении «Распутье»:

*Поманила молодость и скрылась.
Ночь прозрачна, дума тяжела.
И звезда на запад покатилась,
Даль через дорогу перешла.*

*Не шумите, редкие деревья,
Ни на этом свете, ни на том.
Не горите, млечные кочевья
И мосты – между добром и злом.*

*Через дом прошла разрыв-дорога,
Купол неба треснул до земли.
На распутье я не вижу Бога.
Славу или пыль метёт вдали?*

*Что хочу от сущего пространства?
Что стою среди его теснин?
Всё равно на свете не остаться.
Я пришёл и уйду – один.*

*Прошумели редкие деревья
И на этом свете, и на том.
Догорели млечные кочевья
И мосты – между добром и злом.*

Миф или легенда, символ ли, метафора, аллегория или образ – всё это способы, средства выражения, структурной организации, а может, и развития, мысли. Поэт – в первую очередь есть мысль, водой бьющая в плиту истории. Притча «Семейная вечеря» (тот же 1977) – это ещё одна, очень углублённая дума о мистической структуре земного мира, о своём месте в нём.

Кроме нескольких стихотворений об армейской службе и войне (в память об отце), в наследии Кузнецова нет стихов, которые могли бы хоть условно быть отнесены к соцреализму. Своих же кризисных средних лет Поэт (уже привыкший считать себя таковым) достиг одновременно с кризисом социализма, в общем-то, недавно миновавшим свой расцвет... Мы знаем, сколь многие беззастенчиво подстраивались под ещё крепкую советскую конъюнктуру. Знаем, что уже явились полуподпольные-полуорганизованные стервятники, долго метившие в коммунизм, чтобы ударить по России. Знаем, что многие попросту ничего не поняли (они и сейчас делают вид, что явление и сущность – это одно и то же).

Но появляются несколько поэтов (и прозаиков), заслуживших своё право и теперь называться русскими. Самым ярким и бескомпромиссным из них на рубеже 1970-1980-х становится Кузнецов. Как сказано, с конца 1960-х поэт, судя по его стихам, находится в глубочайшем формальном и историко-философском поиске. Но время художеств и сомнений, кажется, минуло. Призвание поэта – уверенность в правде. Нарботанные метафорические, символические средства, приёмы басни-притчи отныне должны служить борьбе... Как всякий русский поэт Кузнецов человек культуры – Культуры как термина противостоящего Цивилизации. Впервые эта антиномия обозначилась в немецком романтизме, ставшем (мы можем так сказать) реакцией на рационализм англо-французского просвещения. Поэт – всегда романтик (в противном случае, по выражению Михаила

Анищенко о Бродском – руки его «пахнут хлороформом»). Несмотря на попытки иных определений его кредо, романтиком всегда оставался и Юрий Кузнецов. В 1979 г. он пишет стихи «Вина»:

*Мы пришли в этот храм не венчаться,
Мы пришли в этот храм не взрывать,
Мы пришли в этот храм попроситься,
Мы пришли в этот храм зарыдать.*

*Потускнели скорбящие лики
И уже ни о ком не скорбят.
Отсырели разящие пики
И уже никого не разят.*

*Полон воздух забытой отравы,
Неизвестной ни миру, ни нам.
Через купол ползучие травы,
Словно слёзы, бегут по стенам.*

*Наплывают бугристым потоком,
Обвиваются выше колен.
Мы забыли о самом высоком
После стольких утрат и измен.*

*Мы забыли, что полон угрозы
Этот мир, как заброшенный храм.
И текут наши детские слёзы,
И взбегают трава по ногам.*

*Да! Текут наши чистые слёзы.
Глухо вторит заброшенный храм.
И взбегают ползучие лозы,
Словно пламя, по нашим ногам.*

Те из нас, кто понимает эти стихи, должны понять и то, что Кузнецов делает в нём *политический* выбор. Закономерно, что в следующем году он напишет своё знаменитое «Для того, кто по-прежнему молод...» о баснословной поездке «во Францию-город» с такой концовкой:

*Только русская память легка мне
И полна, как водой решето.
Но чужие священные камни
Кроме нас, не оплачет никто.*

Поэт всё острее переживает священную историю мира (в которой Россия – один из главных действующих субъектов). В 1981 г., в стихах «На краю» (одно из значений – «На краю материнской могилы») – он вопрошает:

*Боже мой, если ты побеждён,
Кто спасёт её бедную душу?*

Начиная со второй половины 1940-х Запад всё более охвачен интеллектуальной обработкой в рамках «план Маршалла в философии», Франкфутская школа, «новые левые» (почти в унисон им, но на своём поле многие «старые правые», ведущие *неоконсервативную* пропаганду глобалистских начал, в т. ч. в христианской среде), «новая французская философия» – от Батая до Дерриды – все эти взрощенные инвестициями и издательствами умы закладывают в той или иной мере антихристианские либерально-социалистические основы нового мировоззрения в Европе. Само развитие производства, социальной психологии и информатики, развитие масс-медиа изменяют мир роковым образом.

Мог ли быть и был ли советский гражданин, поэт Юрий Кузнецов на «высоте» всех новых «достижений» международно-мыслетворчества и анализа мировых проблем – если у нас и тридцать-сорок лет спустя всё это остаётся достоянием узкого круга? Если и мог, то, конечно, не в полной мере, несмотря на тесное общение с Вадимом Кожинным.

Но одно из главных достояний большого поэта – это его возможность опираться на свою интуицию.

В 1984-м, до объявления «перестройки», Кузнецов пишет странное и замечательное стихотворение «Связь» – о ветеране-связисте, который, ходя по кладбищу, вдруг «принимает» деревянным протезом ноги сигнал-призыв от похороненных в братских могилах солдат:

*...Тире и точки слух прожгли,
Живая боль из-под земли
Ему стучала в уши:
«Спасите наши души!*

*Спасите наши имена!
Спасите наши времена!
Спасите нашу совесть!
Одни вы – не спасётесь!»*

Кузнецов, конечно, не только предчувствует, но и знает. Но вместо теоретической болтологии, он зрит в корень. В том же году он пишет свои знаменитые «Лейтенанты и маркитанты», в 1985-м – очень прямое и потому рискованное стихотворение «Поступок»...

В стихах «Испытание зеркалом» он написал:

*...Одиночество духа парит,
Разрывая пределы земные,
Одиночество духа творит,
Прозревая уделы иные...*

Наверное, можно сказать, что пред нарастающим гулом национального обвала поэт оказывается в положении, сходном с ситуацией многих представителей русской элиты в эпоху революций начала века...

В последний, довольно большой период жизни и творчества, кроме преподавательской работы в Литинституте и редакторской в «Нашем современнике», энергия Юрия Кузнецова направлена на жёсткую критику происходящих антинародных перемен и углублённый религиозный поиск, итогом которого стали и стихотворения, а главным образом известные и вызвавшие споры поэмы «Путь Христа» и «Сошествие в ад».

Об этих больших предсмертных произведениях требуется отдельный разговор (который хоть и не был исчерпан, но во многом состоялся благодаря книге Ст. Ю. Куняева «И бездны мрачной на краю...»). По-видимому, проблема, на которую указывали внимательные читатели и исследователи, выражена уже самим их автором в стихотворении «Поэт и монах». В свою «словестную икону» всякий большой поэт поневоле (и по логике творчества) вносит столько индивидуальности, что она в той или иной мере вступает в разночтение или даже конфликт со Священным Писанием и соборным (а не индивидуалистическим!) Преданием. Религия, поэзия, философия – это виды одного рода: человеческого (и божественного) духа. Но родовая *общность*, тем не менее, не позволяет их полностью совместить, соединить несоединимое в своих принципах... Поэт поставил перед собой огромную задачу и сумел решить её – так, как он считал необходимым её решать.

Итак, скажу ещё раз: разговор о Юрии Кузнецове, коль скоро он стремился бы к оценке и изучению всего его творчества и судьбы, к полной литературоведческой корректности, – тем самым начинал бы стремиться к бесконечности своего тексто-

вого выражения. Как писал Юрий Поликарпович: «Солнце родины смотрит в себя». Эта строка поэта в немалой степени относится к нему самому.

Давайте перестанем забалтывать поэта по литературоведческим частностям. Гений (а на мой взгляд ценность и индивидуальность Кузнецова причастна гениальности) – явление всегда живое, которое нужно воспринимать целиком.

Может быть, кто-то из призванных к тому ответственных лиц, проникнувшись пониманием нашей трагической эпохи, отважится всероссийски указать на поэзию Юрия Кузнецова как одну из ярких звёзд нашего ненастного небосклона.

Действительно, не пора ли?

г. Белгород